

Всероссийская олимпиада школьников по литературе (2015-2016)

Школьный этап

11 класс

1 вариант. Комплексный анализ прозаического текста.

Л. Андреев. В поезде

Нам не спалось. Мы вошли в вагон с желанием отдохнуть. В его призрачных потемках под говор колес, под ритмическое колыхание мягких диванов, когда дремотная мысль точно плывет по волнистому безбрежью, - а случилось так, что мы о чем-то заговорили, о каких-то совсем далеких людях и пещах, и проговорили полночи. Не знаю отчего, но все люди в дороге становятся философами: оторванные от обычного, они точно просыпаются и с удивлением смотрят назад и вперед, и вспоминают очень далекое, и грезят о таком же далеком грядущем. Если бы человеческая мысль могла стать образом, то каждый стремительно бегущий поезд окутался бы роем теней, и не слышно бы стало его грохота за тысячами их протяжных и глухих голосов. Для людей в вагоне нет настоящего, проклятого настоящего, что в тисках держит мысль и в движении руки - быть может, оттого люди в вагоне и становятся философами.

И мы говорили - о людях, говорили мы и о жизни, о ее красоте и богатстве, о глубинах ее бездонных, над которыми беззаботно и слепо плавают люди-щепки. Одну поверхность ее знают они, и легки, слишком легки, никогда не опускаются на дно. Случается, накроет их земная волна и на миг откроет им жизнь свои загадочные недра и ослепит и напугает - а потом опять поверхность, опять голубой шатер, как для уюта называют они небо, опять сонное слепое колыхание, и так до конца - пока не сгниют.

Так долго говорили мы - в призрачных сумерках вагона под тихий звон колес, не видя друг друга, но чувствуя, как растет близость и нежная приязнь. Оторванные от обычного, люди в вагоне становятся чутки вечно одиноким сердцем своим и жадно пьют тихую мимолетную иску - как в засуху цветы пьют дождевую воду.

- Надо спать, - сказал он.

- Пора бы, - ответил я.

Улыбаясь, мы закрыли глаза, а через полчаса, выйдя ни купе, стояли в коридорчике и глядели в окно. Вероятно, где-нибудь за облаками стояла луна, и ночь была светла, и снежная муть земли неприметно сливалась с лунной мутью зимнего ночного неба. Под толстым слоем снега сглаживались бугры и неровности, но мы часто проезжали по этой дороге и все, что проходило мимо, казалось знакомым и виденным.

- А ведь это неправда, - сказал я. - Мы ничего не видим и не знаем.

Он понял меня и, не отрываясь от окна и только ближе прижавшись своей головой к моей, ответил:

- А кажется знакомым. Глаза обманывают.

- Глаза обманывают. Когда я еду по этой дороге, и постоянно смотрю в окно, и взгляд мой охватывает все, что до горизонта. И мне кажется, много, а это - только до горизонта. Когда я проеду несколько раз, в памяти моей останутся кое-какие дома и станции, и некоторые лица, и лес, и даже отдельные деревья. И мне кажется, что это все, - а это только некоторые дома, некоторые лица и отдельные деревья. Я знаю здесь одну березу. Она стоит у опушки леса, отдельно от других, и имеет такой вид, как будто она выбежала из леса и жадно смотрит и поле. Но если ее срубят, я не найду места, где она жила, и, вероятно, даже не вспомню о ней.

- Я знаю эту березу. Она как будто кричит.

- Да. А ты помнишь, где стоит она?

- Где-то здесь. Не знаю. Не помню. И давно уже и не видел ее.

- Кажется, ее срубили.

Прошел мимо русский зимний лес идохнул на нас холодом, ночью и одиночеством. И снова снежная муть и такое же мутное небо. И оттого что мы часто ездили по этой дороге, самое небо казалось знакомым и давно известным, и не верилось, что это новое небо, которого мы никогда не видали. Мелькнул зеленый огонь, какие-то крыши, покрытые снегом, и поезд остановился.

- Станция Белево, - сказал кондуктор.

Так как поезд всегда стоит здесь пять минут, то мы хорошо знали эту станцию, но почему-то ничего не сказали об этом.

- Белево? - повторил кто-то сзади нас. - Здесь хорошие пирожки. Я знаю.

И хлопнул дверь. Наш вагон остановился как раз против телеграфа, и сквозь широкое окно видны были работающие люди. Они-то знали, что за ними наблюдают, и равнодушно делали снос дело, и было немного похоже на сцену с поднятым занавесом. Один телеграфист, молодой, с усами, был обращен лицом к нам и раз даже встретился со мною взором, - но в глазах его не было выражения. Стекло в большом окне слегка отражало огни станции, и от этого ясно видна была только освещенная часть его лица, а то, что находилось в тени, пропадало - точно не существовало совсем.

- Получше взглядишь в телеграфиста, - сказал мне товарищ.

Я смотрел. Телеграфист все так же равнодушно работал, потом сказал что-то в сторону, закурил папиросу и встал. Отошел на один шаг и тотчас же пропал в блестящем стекле. И снова показался, и снова сел за работу. Папироса в зубах, видимо, мешала ему, он морщился освещенной половиной лица и, наконец, положил папиросу на край стола.

И все. Поезд тронулся, и станция прошла мимо в обратном порядке; фонари, какие-то крыши, покрытые снегом, зеленый огонь - и сини! поло, снова снежная муть, и такое же мутное небо. Так должны являться призраки: войдет в одну дверь и уйдет в другую, а комната все та же - тот же стол, те же кресла, то же молчаливое мигание свечи. И только в глазах останется бледный, словно тающий, образ, да сердце говорит, о чем-то замирая.

- Вот и Белево, которое мы знаем, - сказал товарищ.

- А если поехать назад, оно снова явится.

- И снова исчезнет!

- А если в нем остаться!

- Надолго? - спросил он тихо. - Надолго? - повторил он, улыбаясь только мыслью.

И снова мы стояли прижавшись и глядели в окна, а за ними по снежному полю точно гнался тот - равнодушный телеграфист за блестящим стеклом. Но это казалось. Он был в наших глазах - только в наших глазах.

- У него хорошее лицо, - сказал я, припоминая.

- Он молод. Вероятно, ему лет двадцать пять. И уже лет шесть или семь он работает на телеграфе, на этом телеграфе: что-то привычное и долгое чувствуется в движениях его рук, в выражении его лица, в этой папиросе, положенной на край стола.

- Он не видел нас. Там у них светлее, и он не видел нас.

- Вероятно, он видел только силуэт вагона. Он видит только вагоны и силуэты их. Каждые сутки он дежурит на телеграфе, и мимо него проходят десятки - сотни вагонов. По этой дороге много ездят, и каждые сутки мимо него проходят в ту и другую сторону тысячи людей. Быть может, уже пол-России прошло - и все только мимо него. И он ничего не знает о тех, кто прошел.

- По этой дороге часто ездит Лев Толстой.

- По этой дороге ездит Лев Толстой. Ездят по ней министры, князья, великие художники, писатели и певцы. И уже тысячи глаз равнодушно останавливались на нем, а он так же равнодушно сидел и работал. Кто знает, - быть может, на него смотрел Толстой, а он в это время разговаривал с кем-то, курил и жадно затягивался скверным табаком. Он видит только вагоны и силуэты их. Вот на пустые пути из мрака или из солнечного света приходят вагоны и останавливаются, и стоят так, как будто это на всю жизнь. А через пять

минут уходят, и снова пусты молчаливые пути, как будто никогда и никто не стоял здесь. Летом в окнах мелькают лица, а зимою вагоны заперты, заморожены инеем и так глухи, как будто к ним нет живого человека.

Глухо проходят и глухо, не раскрываясь, уходят, - а он сидит, работает и ничего не знает о тех, кто проехал. Он работает - это значит, он передает слова. Пусть как день ясны эти слова для него, они заперты, как вагоны, - он ведь не знает ни тех, кто говорит, ни тех, кто слушает. И мимо него, как вагоны, проходят слова - чья-то радость и чье-то горе, чьи-то мысли, соображения, приказы. Он только передает. И у него есть уши и глаза, а он глух и слеп, как будто не было у него никогда ни слуха, ни зрения.

- У него есть своя жизнь.

- Он живет в Белеве у какой-нибудь мещанки в трехконном домике над оврагом, - если только на миг сойти с протоптанной тропинки, то с головой провалишься в снег. Единственные темные пятна перед глазами - кучка золы и застывших помоев да голый, корявый ствол ракиты. И его маленькая, жаркая комнатка с лежанкой, и на этой лежанке он сидит на праздниках, по утрам, и играет на гитаре. Он любит вышитые русские рубашки, которые ему дарят на именины, мечтает о новой форменной тужурке и лакированных сапогах. Он еще не пьет, он молод и мечтателен, и оттого в комнатке его чисто, платье завешано простыней и на окне кисейные занавески. И когда он читает какую-нибудь старую разорванную книгу, у которой не хватает страниц, и не подозревает, что эту книгу тоже написал человек, - она существует для него самостоятельно, как корявая ракита, на которую он смотрит, и так же мало вызывает размышлений. Когда ночью он возвращается с дежурства, то очень боится собак, а дома быстро раздевается и, посмотрев на потертые на пятке носки, засыпает с мыслями о носках и телеграфе. Все, что совершается в мире великого, громкого, ослепительного, проходит где-то стороною, и он не подозревает и не думает, что автор той разорванной книги пассажир и вчера проехал, быть может, мимо него. Богатая человеческая душа его, как скрипка Страдивариуса, отданная уличному музыканту: на ней играют дрянные польки, и она никогда не узнает самой себя, своего настоящего голоса, так как тот, кто мог извлечь его, жизнь-артист, жизнь-художник, жизнь - великий музыкант, проходит где-то мимо, и он никогда не узнает о ней. И, пропуская мимо себя глухие, замкнутые вагоны, он проходит и мимо себя самого, такого же замкнутого, такого же глухого и проходящего. - Так сказал мой товарищ и задумался, и щека его, прижавшаяся к моей, похолодела.

- Но, быть может, он вовсе не такой, и ты все это выдумал.

- Быть может. Ведь мы проехали только мимо.

Вагон покачивался, и проплывали снежные поля. Они казались знакомыми и обманывали: я никогда не видал этих полей! Рядом со мною стоял он, и щека его прикасалась к моей щеке, и он обманывал меня этим прикосновением: я не знаю его! Завтра мы расстанемся, и образ его останется только в моих глазах, а мимо меня пойдут другие люди, - и я пойду мимо других людей. Быть может, мимо себя.

1900.

11 класс

2 вариант

I. Сделайте сопоставительный анализ элегий А. С. Пушкина и В. Кюхельбекера. Отметьте характерные для этого жанра черты.

А. С. Пушкин

Элегия

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и тревоженья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

1830

Вильгельм Кюхельбекер

Элегия

«Склонился на руку тяжелой головою
В темнице сумрачной задумчивый
Поэт...
Что так очей его погас могущий свет?
Что стало пред его померкшею душою?
О чем мечтает? Или дух его
Лишился мужества всего
И пал пред неприязненной судьбою?»
— Не нужно состраданья твоего:
К чему твои вопросы, хладный зритель
Тоски, которой не понять тебе?
Твоих ли утешений, утешитель,
Он требует? оставь их при себе!
Нет, не ему тужить о суетной утрате
Того, что счастием зовете вы:
Равно доволен он и во дворце и в хате;
Не поседели бы власы его главы,
Хотя бы сам в поту лица руками

Приобретал свой хлеб за тяжкою сохой;
Он был бы тверд под бурей и грозами
И равнодушно снес бы мраз и зной.
Он не терзается и по златой свободе:
Пока огонь небес в Поэте не потух,
Поэта и в цепях еще свободен дух.
Когда ж и с грустью мыслит о природе,
О божьих чудесах на небе, на земле:
О долах, о горах, о необъятном своде,
О рощах, тонущих в вечерней, белой
мгле,
О солнечном, блистательном восходе,
О дивном сонме звезд златых,
Бесчисленных лампад всемирного
чертога,
Несметных исповедников немых
Премудрости, величья, славы бога,—
Не без отрады всё же он:
В его груди вселенная иная;
В ней тот же благодати таинственный
закон,
В ней та же заповедь святая,
По коей выше тьмы и зол и облаков
Без устали течет великий полк миров.
Но ведать хочешь ты, что сумрак
знаменует,
Которым, будто тучей, облегло
Певца унылое чело?
Увы! он о судьбе тоскует,
Какую ни Гомер, ни Камоенс, ни Тасс,
И в песнях и в бедах его предтечи,
Не испытали; пламень в нем погас,
Тот, с коим не были ему ужасны встречи
Ни с скорбным недугом, ни с хладной
нищетой
Ни с ветреной изменой
Любви, давно забытой и презренной,
Ни даже с душною тюрьмой.

18 июня 1832